Чимаманда
Нгози
Адичи

Просто мечты

роман

Перевод с английского
Анны Гайденко



phantom press

Москва

УДК 821.111
ББК 84(6Ние)
А30



DREAM COUNT by CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

Copyright © Chimamanda Ngozi Adichie 2025

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Книга издана при содействии The Wylie Agency

Перевод с английского Анны Гайденко
Редактор Игорь Алюков

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Чимаманда Нгози Адичи
А30 Просто мечты: Роман / Пер. с англ. А. Гайденко. — М.: Фантом Пресс, 2026. — 560 с.

Чимаманда Нгози Адичи, автор “Половины желтого солнца” и “Американхи”, ставших огромными событиями во всем литературном мире, возвращается с новой книгой спустя больше десяти лет молчания. И ожидание того стоило.
Новая книга — роман о любви, желаниях, мечтах и цене, которую женщины платят за право мечтать о собственной жизни, — подтверждает статус Адичи как одного из главных голосов современной мировой литературы.
Чиамака, нигерийская писательница-путешественница, заперта в четырех стенах пандемийного карантина — и в четырех стенах собственной памяти, где один за другим всплывают мужчины, которых она любила, или думала, что любила, или просто отчаянно хотела полюбить. Пытаясь понять, почему ни один из них не стал “тем самым”, она передает эстафету трем самым близким в ее жизни людям. Трем женщинам, каждой из которых есть что рассказать. Омелогор хлопнула дверью успешной банковской карьеры ради крайне неудачного пути. Для Зикоры материнство оборачивается не умилением, а испытанием на прочность и трудностями, о которых она и представления не имела. Жизнь Кадиату, домработницы Чиамаки, раскалывается надвое после одной страшной ночи в нью-йоркском отеле.
Адичи пишет о желании и уязвимости так, что хочется то спорить с героинями, то обнять их. Это роман горький и нежный одновременно — о том, чего стоит женщине право хотеть, ошибаться и все равно мечтать дальше. Четыре судьбы, четыре разных ответа на вопрос, что значит быть услышанной, желанной и свободной. Адичи, как всегда, беспощадно точна в деталях и безжалостно честна в чувствах.

ISBN 978-5-907943-28-5

© Анна Гайденко, перевод, 2026
© Андрей Бондаренко, оформление, 2026
© “Фантом Пресс”, издание, 2026

ГЛАВА 1

Я всегда хотела быть увиденной, по-настоящему увиденной другим человеком. Иногда мы годами стремимся к тому, чему не можем дать названия, пока в небе не появится трещина, пока оно не разверзнется и не откроет нас самим себе, как это произошло в пандемию, потому что именно во время локдауна я начала перебирать свою жизнь и давать названия вещам, прежде безымянным. Сначала я дала себе зарок использовать это всеобщее заточение с максимальной пользой: если уж мне не оставили выбора, кроме как сидеть дома, я буду каждый день наносить масло на редеющие волосы у висков, выпивать по восемь больших стаканов воды, заниматься на беговой дорожке, позволять себе роскошь спать подольше и втирать в кожу питательные сыворотки. Сяду писать новые эссе о путешествиях, вооружившись старыми заметками, и, если локдаун затянется, может, наконец-то наберу достаточно материала для книги. Но прошло всего несколько дней, и я почувствовала, что лечу в бездонный колодец. В вихре правил и предписаний мне казалось, что человечество стремительно откатывается к древней стадии хаоса, которую должно было давно перерасти. Не трогайте лицо, мойте руки, не выходите на улицу, пользуйтесь дезинфицирующими средствами, мойте руки, не выходите на улицу, не трогайте лицо. А умываться — это тоже трогать лицо? Я всегда пользовалась полотенцем, но

однажды случайно задела щеку ладонью и замерла под звук текущей из крана воды. Не могло же это быть опасным, я ведь не выходила на улицу, но в чем смысл этих “не трогайте лицо” и “мойте руки”, когда никто не знает, как все началось, когда закончится и что вообще происходит? Каждое утро я просыпалась в тревоге, сердце пускалось в бешеный галоп вопреки моей воле, и иногда я даже прижимала ладонь к груди и долго не убирала. Я была одна в своем доме в Мэриленде, в безмолвии пригорода, и деревья, окаймлявшие призрачные дороги, казалось, сами застыли от этой тишины. Мимо не проезжало ни одной машины. Как-то раз я выглянула в окно и увидела, что по лужайке перед домом идет стадо оленей. Их было не менее десяти, а то и все пятнадцать, и они совсем не были похожи на робкого оленя-одиночку, которого я время от времени замечала поодаль, когда он щипал траву. Их непривычная смелость пугала — казалось, мой мир вот-вот наводнят не только олени, но и другие, пока невидимые существа, каких я даже представить себе не могу. Иногда я почти ничего не ела, питаясь только крекерами из кладовки, а иногда находила забытые пачки замороженных овощей и готовила острые бобы, напоминавшие мне о детстве. Бесформенные дни перетекали один в другой, и было ощущение, что время замкнулось в себе самом. У меня ныли суставы, мышцы спины и шея, будто тело слишком хорошо понимало, что люди не созданы для такой жизни. Я не писала — не могла писать. К беговой дорожке даже не подходила. На созвонах в зуме все слова звучали эхом, мы тянулись навстречу, но не могли соприкоснуться, и расстояние между нами становилось выхолощенным.

Как-то днем позвонила моя лучшая подруга Зикора, живущая в Вашингтоне, и сказала, что она в “Уолмарте”, покупает туалетную бумагу.

— Ты вышла из дома! — почти выкрикнула я.

— На мне две маски и перчатки, — отозвалась Зикора. — Полиция всех выстраивает в очередь за туалетной бумагой, представляешь? — И перешла на игбо: — Люди орут друг на друга. Я уже серьезно боюсь, что кто-нибудь сейчас достанет пистолет. Белый мужчина передо мной какой-то подозрительный: приехал в огромном пикапе, и на нем красная бейсболка.

На чистом игбо мы никогда не говорили — в наших фразах то и дело попадались английские вкрапления, — но теперь Зикора старательно избегала их на случай, если кто-то подслушивает, и ее речь звучала неестественно, как в плохом сериале о доколониальных временах. *Мужчина в большой сухопутной лодке, в шляпе цвета крови.* Я рассмеялась, она тоже, и на мгновение меня отпустило, стало легче.

— Серьезно, Зикор, зря ты вышла.

— Но бумага-то нужна.

— Думаю, самое время начать подмываться, — сказала я, и в следующий момент мы с Зикорой одновременно воскликнули:

— Вы нечистые!

За эти годы я тысячу раз рассказывала эту историю про Абдула, нашего сторожа в Энугу, — высокого Абдула в длинной галабее*, который как-то вечером, идя к уборной на заднем дворе с пластиковым кувшином в руке, повернулся ко мне и спокойно сообщил:

— Вы, христиане, после туалета пользуетесь бумагой. Вы нечистые.

— В нынешней Америке самое страшное преступление — это пролезть вне очереди за туалетной бумагой

* Традиционная для стран Северной Африки одежда наподобие рубахи с широкими рукавами, доходящая до пят. — *Здесь и далее примеч. перев.*

в супермаркете, — пошутила я во время семейного созвона. — Полиция по всей стране усиленно бдит за бумажными очередями.

Я надеялась, что все засмеются — мы раньше так много смеялись, — но усмехнулся один папа. Братья были на грани очередной ссоры. Мама сказала только:

— Никогда не понимала, почему у американцев это называется бумага. Туалетная бумага. Звучит грубо. Почему не салфетки или полотенца?

Мы общались в зуме раз в два дня, мои родители звонили из Энугу, мой брат Афам — из Лагоса, а его близнец Буначи — из Лондона. Каждый звонок напоминал пасмурный день, затянутый зловещими тучами очередных плохих новостей. Мама с папой говорили о смерти, об умирающих и умерших, а братья в открытую пререкались, не утруждаясь больше скрывать взаимную неприязнь. Казалось, мы перестали быть собой, потому что весь мир перестал быть собой. Мы обсуждали число случаев заражения в Нигерии, которое росло день ото дня, штат за штатом, будто это какое-то жуткое соревнование. Пока больше всего больных было в штате Лагос, на втором месте — Кросс-Ривер. Афам прислал видео, как "скорая" с ревом мчится по его улице, с подписью "минус один" внизу. Буначи сказал, что врачи в Великобритании скоро останутся без защитных костюмов, потому что их производители в Китае умерли. Я всегда подключалась последней и делала вид, что только закончила созвон с редактором, хотя на самом деле просто смотрела в экран, собираясь с духом, чтобы нажать кнопку. Родители успели вернуться в Нигерию из Парижа незадолго до локдауна, и мама часто повторяла: "А если бы мы застряли в Европе? Люди нашего возраста там мрут как мухи".

— Представьте, какой начался бы кошмар, будь у нас уровень смертности, как в Европе, — сказал папа.

— Бог оберегает Нигерию, другого объяснения нет, — отозвался Афам.

— Тут не обошлось без магии, — съязвил Буначи. И прибавил: — Европа просто честно ведет учет смертей от коронавируса.

— Нет-нет, — возразил папа. — Мы бы не смогли скрыть высокие показатели смертности. Мы слишком неорганизованны, тут вам не Китай.

— Господи Иисусе. Ведь все эти цифры — люди, люди, — пробормотала мама, отвернувшись к телевизору.

— Сегодня утром я ходил к банкомату с ложкой, — сказал Афам.

— С ложкой? — Мама снова повернулась в камеру.

— Просто не хотел прикасаться к кнопкам, поэтому ввел пин-код ложкой и выбросил ее.

— Ты что, не надел перчатки?

— Надел, но кто знает, вдруг коронавирус проникает через перчатки?

— На твердых поверхностях он погибает в считаные секунды. Ты просто зря выкинул ложку, — заявил всезнающий Буначи. За несколько дней до этого он утверждал, что аппарат ИВЛ не подходит для лечения коронавируса. Он работал бухгалтером.

— Не надо было в принципе выходить на улицу, Афам, — сказал папа. — Зачем тебе вообще наличные? У вас же все есть.

— Мне нужны наличные. Обстановка в Лагосе очень напряженная.

— В каком смысле? — спросил Буначи, но Афам молчал, пока не вмешался папа:

— То есть как — напряженная?

— По всему Острову у жилых комплексов собираются толпы, требуют денег и еды. Вы же знаете, многие зарабатывают и тратят одним днем, у них нет подушки безопасности. Все эти уличные торговцы. Мне попадалось видео, где кто-то из толпы кричал, что им не нужен локдаун, что это богачи привезли из-за границы коронавирус, и раз уж

до локдауна они стирали нам одежду и качали колеса, то теперь мы должны их кормить. Честно говоря, в этом есть некая логика.

— Какая логика? Они просто бандиты, — возразил Буначи.

— Они голодают, — настаивал Афам. — Я шел до банкомата пешком. Слышал, что если едешь на дорогой машине, за тобой могут погнаться с палками.

Он жил в большом доме в жилом комплексе, где электронные шлагбаумы на въезде открываются индивидуальными кодами. На следующий день он сказал, что толпа избила охранников и ломится в ворота, пытаясь вывести из строя систему безопасности.

— Они развели костер прямо у входа. Я никогда не видел такой активности в домовом чате. Все скидываются на помощь им и думают, как лучше передать деньги.

— И ты все еще веришь, что они не опасны? — поддел Буначи.

— Я и не говорил, что они не опасны. Я сказал, что они голодают, — парировал Афам.

В его окошке на экране виднелся серый дым, поднимающийся в вечернее небо. Афам стоял на мраморном балконе рядом с высоким растением в кадке и казался уязвимым, не готовым ко всему происходящему. Растение было таким зеленым, а его листья такими сочными, что я вдруг с удивлением осознала: когда-то жизнь была обычной, а мой брат был хозяином положения и управлял своими предприятиями в Лагосе — молодой бизнесмен, Большой Человек, обладающий властью. Теперь он на балконе, а его жена с двумя детьми заперлись на кухне, потому что там самая прочная дверь в доме. Он пытался изображать бесстрашие, но это только выдавало его страх, и я подумала, какие мы все хрупкие и как легко забываем о своей хрупкости. Воздух распорол громкий хлопок, и я вздрогнула, не понимая, раздался он из динамика или из-за моего окна.

— Слышали? — сказал Афам. — Что-то взорвалось у ворот.

— Ерунда, — отозвался папа. — Наверняка бросили в костер баллончик с каким-нибудь спреем от насекомых.

— Афам, уйди внутрь и запри двери, — попросила мама.

Чтобы сменить тему, я сказала, что в интернет-магазинах раскупили весь витамин С в высокой концентрации. Буначи, разумеется, был уже в курсе и заявил, что витамин С от вируса не спасет, но он пришлет нам рецепт настоя из свежего базилика для ингаляций.

— Где мы тебе свежий базилик возьмем? — огрызнулся Афам.

Буначи принялся зачитывать последние данные о смертности в разных странах, и тут я соврала, что у меня телефон разряжается, и вышла из конференции. Потом отправила Афаму сообщение: “Держись, все будет хорошо”, закончив его строкой красных сердечек.

Моя кузина Омелогор сообщила, что в Абудже ничего подобного нет, — там всегда спокойнее, чем в Лагосе, этот город все равно что выжженный солнцем Лагос, откуда ушли все жизненные соки.

— Одни умирают, другие отмечают дни рождения, — сказала она.

— Что?

— Вчера глава администрации президента умер от коронавируса, а сегодня утром Эджиро пригласила меня на день рождения. Я сказала, что если захочу рискнуть жизнью, выберу способ получше, чем ее вечеринка.

Меня резануло, как Омелогор произносит “умер” и “рискнуть жизнью”, она редко говорила о симптомах или о количестве умерших. Обычно она рассказывала, как заклеивает коробки лапши “Индоми” скотчем и оставляет

их у ворот приюта для детей-сирот, как с началом локдауна подскочила активность на ее сайте “Только для мужчин” и как выросло число уникальных посетителей из-за рубежа, многие из которых просят ее снять видео и наконец показать лицо. “Это почти интимно — предложить мне снять себя на камеру”, — говорила Омелогор со смешком. Из всех, кого я любила, Омелогор изменилась меньше всего, не сдалась перед всеобщей неизвестностью, она по-прежнему выглядела бодрой и свежей и фонтанировала множеством планов.

— Чиа, это пройдет. Человечество за свою историю пережило не одну чуму, — повторяла она, когда замечала, что я падаю духом, и ее тон меня подбадривал, хотя слово “чума” почему-то ассоциировалось с пиявками.

— Не называй это чумой, — просила я.

Иногда мы вообще не разговаривали — просто ставили телефоны на стол, прислонив к книге или кружке, и делились молчанием и фоновым шумом. Только с Омелогор тишина была терпимой. Во время созвонов с друзьями молчание ощущалось как поражение, поэтому я говорила и говорила, думая, как быстро мы приспособились — или делаем вид, что приспособились, — к жизни, сводящейся к экрану и звуку. Зикора сказала, что ей нравится работать из дома, из кровати, потому что она слышит, как в гостиной пронзительно плачет Чидера, а бабушка негромко его утешает. Чидера так отчаянно просился на детскую площадку, что она впервые в жизни разрешила ему посмотреть мультики, и он сначала боялся, но теперь сидит перед телевизором как загипнотизированный и ревет, когда бабушка его выключает. Лэшон, живущая в Филадельфии, рассказала, что печет хлеб на закваске и оставляет на лестнице тарелки с жареной курицей для матери, которая изолировалась наверху, потому что они не хотят рисковать. Хлонипа из Йоханнесбурга отключила дома вайфай и взялась за акварель, но рисунки ее расстраивают, потому что

выглядят слишком водянистыми и блеклыми. Лаванья из Лондона постоянно пила красное вино и демонстрировала бутылку в камеру, доливая вина в бокал. От коронавируса умерла ее старенькая соседка, которая жила одна с собакой, и собаку никто не забрал. Теперь Лаванья слышит ее лай, и у нее сердце кровью обливается, но она не знает, могут ли собаки переносить вирус.

Вскоре созвоны превратились в калейдоскоп галлюцинаторных образов. После них я чувствовала себя еще более одинокой, и не потому что разговор завершился, а потому что он вообще состоялся. Такое общение лишь напоминало обо всем том, что мы утратили. Я мечтала услышать чье-то дыхание рядом. Во сне я обнимала маму в прихожей нашего дома в Энугу и просыпалась в растерянности, потому что не думала об этом наяву. Мне не хотелось быть одной. Я жалела, что Кадиату не согласилась переехать ко мне на время локдауна вместе с Бинтой. Но я понимала ее желание остаться дома, хотя очень за нее беспокоилась. За несколько дней до начала локдауна она сказала: “Я жду в своей квартире”. Жду. Мы все действительно ждали. Локдаун был неизвестностью, ожиданием неизвестного конца, а для Кадиату это ожидание усугублялось невыносимой болью. Я звонила ей каждый день, а когда она не брала трубку, звонила Бинте, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Мы общались по вотсапу*, потому что зума у нее не было. “Как ты, Кади?” — спрашивала я, и она отвечала: “У нас все нормально, слава богу”. Иногда она тихим голосом говорила: “Не беспокойтесь за меня, мисс Чиа”, не желая привлекать к себе особого внимания. А ведь всего несколькими неделями раньше тот же самый голос, срывающийся от паники, кричал по телефону: “Он будет послать людей убить меня! Он будет послать людей убить меня!” От

* В тексте упоминаются заблокированные социальные сети *WhatsApp*, *Facebook* и *Instagram*. *Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией на территории РФ.

терапии она отказалась, качая головой и повторяя: “Я не могу говорить с чужим, не могу говорить с чужим”. Она хотела только одного: чтобы судебный процесс закончился, но все заседания были приостановлены, и я боялась, что, застряв в неопределенности локдауна, она может погрузиться во мрак.

— Как я снова найду работу после это? Как я найду работу? — спрашивала она, и в ее голосе было столько отчаяния, что мне хотелось плакать.

— Ты сможешь открыть свой ресторан после суда, Кади, — отвечала я.

— После корона никто не будет ходить в ресторан, — бесцветно возражала она.

Во время одного из звонков меня поразила внезапная вспышка агрессии с ее стороны.

— Не присылайте деньги больше, мисс Чиа. Вы уже достаточно мне давала.

Никогда прежде она не разговаривала со мной в таком тоне. Между нашими экранами повисло напряженное молчание.

— Хорошо, Кади, — сказала я наконец.

Она повесила трубку, не попрощавшись, и я выждала несколько дней, прежде чем позвонить снова. Всякий раз, когда я спрашивала Бинту: “Как твоя мама?” — она отвечала одно и то же: “Плачет по ночам”.

Никто не будет ходить в ресторан. Я не могла представить это новое изолированное существование, в котором люди никуда не выбираются поесть, мне нужно было верить, что мир когда-нибудь снова станет полным чудес.

Тишина за окном пугала. Новости пугали. Я читала, как старики умирают в одиночестве, словно никем не любимые, а те, кто их любил, стоят и плачут за стеклянными перегородками. По телевизору я видела, как выносят тела, по-

хожие на завернутые в белую ткань жесткие манекены, и скорбела по незнакомым мне людям. Я искала в твиттере хэштеги, связанные с коронавирусом, и вставляла в онлайн-переводчик твиты итальянских врачей — они вроде бы понимали, о чем говорят. Хотя понимали они не то чтобы много, никто толком ничего не знал, все шли на ощупь в темноте. Стоило мне узнать про новый описанный симптом, и я тут же находила его у себя, а симптомы то и дело менялись — каждый день очередной сюрприз, от высыпаний на лице до язвочек на ногах, какой-то всеобъемлющий апокалипсис без конца и края. Если у меня чесался палец на ноге или с утра першило в горле, я впадала в панику и твердила: “Дыши, дыши”, как учат в приложениях для медитации, которые я раньше не воспринимала всерьез.

Часто на меня накатывало тупое оцепенение, но бывало и наоборот — бросало в жар нервозности. Разговоры стали отдавать вымученной бодростью, особенно групповые созвоны с друзьями, где все размахивали бокалами с вином. Я начала избегать и дружеских, и семейных бесед. Я игнорировала даже звонки Омелогор, а ведь у меня не было никого ближе, но общаться с ней стало в тягость, потому что общаться в принципе стало в тягость. Я лежала в постели и ничего не делала, и мне было стыдно, что я ничего не делаю, но я все равно ничего не делала. Я писала друзьям, что работаю над книгой и, поскольку это была ложь, добавляла слишком много подробностей, вместо того чтобы формулировать коротко. Чтобы справиться с чувством обреченности, я перестала следить за новостями. Я забросила интернет и телевизор и принялась за детективы Агаты Кристи, с удовольствием погружаясь в их благородную неправдоподобность. Но потом новости все равно поглотили меня с головой. Я разводила имбирный порошок теплой водой, добавляла лимонный сок из старой треснутой бутылки, которая стояла в глубине холодильника, и специи из шкафчика — кайенский перец,

чеснок и молотую куркуму, — пока от этой смеси меня не затошнило. По утрам я долго не могла встать, потому что выбраться из кровати означало снова шагнуть навстречу возможному горю.

В этой новой, замершей жизни я однажды нашла у себя седой волос. Он появился за одну ночь, у виска, туго завитой, и, взглянув в зеркало в ванной, я сначала приняла его за приставшую нитку. Седой волосок с легким отливом. Я растянула его во всю длину, отпустила и снова растянула. Я не стала его вырывать. Подумала: я старею. Я старею, мир изменился, а меня так никто и не увидел по-настоящему. От прилива острой меланхолии на глаза навернулись слезы. Вот все, что у меня есть, — хрупкое дыхание, вдох и выдох. Куда ушли все эти годы, извлекла ли я из жизни максимум? Но как можно измерить этот максимум и как я определю, удалось мне извлечь его или нет?

Оглядываясь на прошлое, я тонула в сожалениях. Не знаю, что было раньше: то ли я принялась лелеять сожаления, а уже потом стала гуглить мужчин из своего прошлого, то ли, погуглив мужчин из прошлого, погрузилась в пучину сожалений. Я вспоминала обо всех начинаниях и о той легкости бытия, которая приходит с этими начинаниями. Я оплакивала время, потерянное в пустых надеждах, что из имеющегося у меня родится нечто чудесное. Я горевала и о том, о чем даже не могла знать наверняка, — что где-то есть человек, который мог бы не просто полюбить меня, но и по-настоящему увидеть, а мы с ним разминулись.

На первом курсе — очень давно, в мой первый год в Америке, когда все было еще для меня в новинку, — со мной на занятия по музыке ходил один парень-кореец. “Введение в музыку”. Маленькая белая преподавательница, полная энтузиазма, говорила очень быстро, и поток ее американского английского с сильным региональным ак-

центом был так похож на странное бесконечное жужжание, что я в нем терялась. Однажды я даже заглянула через плечо соседа, чтобы проверить, понял ли он ее последние слова, но на его странице были не привычные буквы, а изящные символы, состоящие из тончайших коротких линий. Я смотрела, завороженная красотой корейской письменности, и восхищалась тем, что он умеет писать такое и извлекать из этого смысл. Насколько я помню, именно тогда я впервые обратила на него внимание, но наша память лжет. Откуда я могла знать, что это именно корейский язык, если не отличала его от японского и китайского? Не знаю откуда, но я почему-то это знала, а еще я знала, что раз он пишет по-корейски, то, видимо, приехал из Кореи, а значит, он не американец, как и я, и поэтому его дни, как и мои, наверняка полны одиночества. Я жаждала его внимания, но ничего не делала, чтобы он меня заметил. Он был красивый, коренастый и крепкий, и жесткий ежик его слишком коротких волос казался мне восхитительной дерзостью. Он всегда входил в аудиторию с опущенной головой, будто стеснялся или думал о чем-то своем, и, прежде чем сесть, сбрасывал рюкзак на пол. Я представляла, как мы, держась за руки, сидим на солнечной лужайке, а рядом американцы жуют свои сэндвичи. Мы были бы как те студенты, которые ездят на пляж на машине, а потом возвращаются и паркуются перед общежитием, чуть подвыпившие, беззаботные, оставляющие за собой песок и капли соленой воды. Каждую среду и пятницу перед занятием я собиралась подсунуть ему листок бумаги со своим номером телефона — это казалось смелым и будоражащим, так делали герои фильмов, понимающие, что к чему. Я месяцами сидела рядом с ним, и его близость ощущалась как электричество в воздухе, но номер я написала только за неделю до экзамена. И добавила: *Хочешь как-нибудь встретиться?* Потом разорвала листок, а когда мы пришли на экзамен, написала просто имя и номер на обратной стороне

чека из кафе. Этот чек я ему так и не вручила. Сдала свою работу и ушла. Больше я никогда его не встречала, моего красивого корейца с колючими волосами ежиком. Весь следующий семестр я осматривала аудитории и коридоры, пару раз даже видела азиата с резкими чертами лица и долго вглядывалась, пока не поняла, что это не он. Возможно, он уехал обратно в Корею.

Могла бы я сейчас быть с моим корейцем, иметь от него ребенка или даже двух детей, иногда ездить в Сеул и Лагос и постоянно жить в Нью-Йорке? Я не люблю Нью-Йорк. Его воздух отдает горечью, безличность в толпе обжигает. Здесь я чувствую себя неприкаянной, как камешек, гремящий в большой равнодушной тыкве. После окончания колледжа, убедив папу, что начинающим писателям нужно жить в Нью-Йорке, я год снимала квартиру с одной спальней на углу 42-й и Лексингтон. Что-то в этом городе вызывало у меня желание спрятаться, и я целыми днями сидела в квартире, выживая на доставках и стараясь не встречаться взглядом с дружелюбным швейцаром. Когда все попытки написать роман провалились, я устроилась на работу в сфере рекламы и уехала с мыслью больше не возвращаться. И все же Нью-Йорк часто фигурировал в моих воображаемых жизнях — возможно, потому что этому городу полагается в них фигурировать. Как и Парижу, и, кстати, это еще один город, который мне не нравится. Париж демонстрирует свою исключительность слишком навязчиво и поэтому безвкусно, он уверен, что очарует любого просто потому, что он очарователен. Чернокожие парижане кажутся серыми, как будто любезное презрение, которое питает к своим черным гражданам Франция, осело на них пеплом. Это описание принадлежит человеку, которого, как мне казалось, я любила три года своей жизни. Нет, я действительно любила его три года, но, когда все закончилось, я пожалела, что любила его. Дарнелл. Его звали Дарнелл.

— Они все серые и выцветшие. К своим черным французы относятся по-скотски, но если ты афроамериканец, это еще простительно, — сказал он.

По его словам, приехав однажды в Париж, он не успел сойти с поезда, как появились люди в форме и начали требовать документы только у черных — *Les papiers! Les papiers!* На его синий американский паспорт они посмотрели вполглаза и махнули рукой — мол, идите, но, оглянувшись, он увидел четырех чернокожих французов, которые униженно сбились в кучку у колонны, а все остальные шли мимо как ни в чем не бывало. Мне хотелось, чтобы Дарнелл сказал, что это его расстроило, или возмутило, или задело за живое, но он сказал только, что это материализация субъективной неорасовой парадигмы. Или что-то в этом роде.